2/1989

ISSN 0130—741X

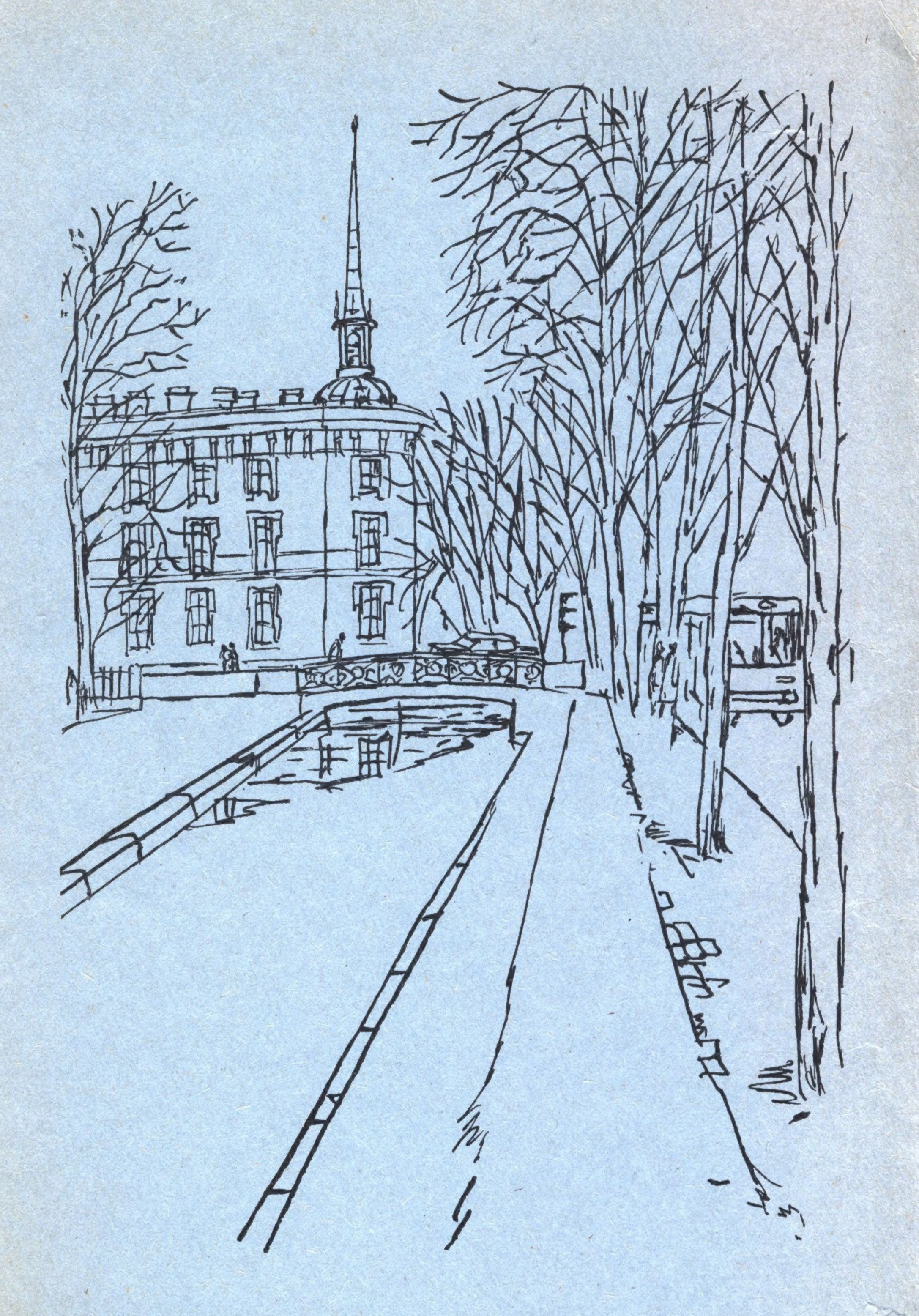
РЫБАКОВ
успеть
есть

ОЛЛЕР
ивал комедианта
са

КОНКВЕСТ
ьшой террор

ИТИЧЕСКИЙ КЛУБ
ЬТЕРНАТИВА»

АНСЕЛЬМ
ад есть Запад,
ток есть Восток!



«Лебяжья канавка»
Рис. Ю. Куликова

Вячеслав
РЫБАКОВ

НЕ УСПЕТЬ

Повесть

КАТАСТРОФА

Жжение под лопатками я почувствовал, стоя за чаем. Духота и давка были страшные, и в первый момент я подумал, что это просто очередные струйки пота, сбегая по спине, на редкость едко бередят кожу. И далеко не сразу испугался. Слишком уж все с утра удачно складывалось, настроение ощущалось победоносное. День был у меня библиотечным, в институт я мог не идти и официально считался пребывающим в Публичке, в зале древних рукописей. На рассвете, еще по утреннему холодку, я успел отметиться в очереди за творогом. Ежась от зябкого ветра, зевая и сонно жмурясь, длинный хвост выстроился у магазина за час до открытия — каждый боялся оказаться вычеркнутым. Десятка полтора счастливцев, надеявшихся отовариться уже сегодня, добродушно переговаривались у самых дверей. «Еще не говорили, что забросили?» — «Высунулась, буркнула что-то, и опять заперлись...» — «Переспросить надо было!» — «Да разве успеешь, когда она сразу дверь захлопнула?» — «Детские творожники по тринадцать восемьдесят дадут. Я сам видел, как машину разгружали...» Какой-то пожилой, но молодящийся ферт, без сумки, без сетки, руки в брюки стоя рядом со мной и озирая смирную толчею, пробурчал громко:

— До чего со своей перестройкой страну довели!

Ему никто не ответил — не до того было.

— Восемьсот третий так и не пришел — я его помню, с усами с такими, в белой кепке!

— Загляните в окно, будьте любезны, масла там не видно на прилавке? Дама, дама! Загляните в окно! Мне не протиснуться...

К восьми тридцати я уже освободился. Очередь продвинулась на семнадцать человек — не слишком сильно, но меня это и устраивало: в таком ритме я надеялся ухватить как раз к той поре, когда жена с Кирей вернутся с дачи, а творог именно и был нужен Кире.

За чаем пришлось стоять уже внутри, в духоте. Касса то и дело рвала ленту, поэтому двигалось все медленно, и хвост рос и рос. Многие прижимали к ушам транзисторы. Шел очередной съезд, трансляция велась почти непрерывно, и Черниченко, ничуть не утративший пыла, бил наотмашь:

— ...И что получается? Пекари стоят в аптеку, фармацевты стоят в булочную, рабочие и инженеры стоят и туда, и туда, и ничего нет, потому что никто не работает, а все только стоят! А раз ничего нет, то и очереди не двигаются!

Это была сущая правда. Люди слушали, затаив дыхание; какая-то старушка передо мной тихо плакала, утираясь зажатым в кулачишке пучком талонов. Поодаль застрекотала, заколотилась касса — все плотнее прижали транзисторы к ушам, с ненавистью глядя на источник шума, и облегченно вздохнули, когда механизм заскрежетал и вновь захлебнулся. Взмыленная,

задерганная до багровости кассирша всплеснула руками, вскочила и выбежала из своей стеклянной конуры так, будто за нею гнались рэкетиры.

Я просунул руку за спину почесаться, промакнулся рубашкой и отчетливо почувствовал, что зудит не кожа, а под ней. Где-то в глубине меня.

И вот тут я похолодел.

Не помню, как отстоял. Дрожащей рукой кинул в сумку июньскую пачку, и даже то, что это оказался индийский, не смогло обрадовать или хотя бы несколько отвлечь меня. В голове билось: «Неужели? Неужели?!» Невозможно было так сразу поверить, но тоска уже накатила. По инерции, на ватных ногах я протолкался в сладкий отдел — симпатичные итальянские баночки с детским питанием громоздились изобильно, в несколько рядов, но сердце даже не дрогнуло надеждой. Для очистки совести я спросил, сам привычно стесняясь глупости вопроса:

— Свободно?

Продавщица замедленно зевнула и, моргая, сказала:

— Ток по рецеп.

Я так и думал. Рецепт-то у нас должен был быть, но третий месяц в поликлинику не завозили бланков, и розовые давно кончились. Обижало то, что пенсионерских оставалось еще навалом — бланки разных типов выделялись в равных количествах, хотя, если рассудить, ясно же, что у пенсионеров малолетних детей меньше, чем у работающих; но горздраву, или кому там, именно так втемяшилось в голову осуществлять социальную справедливость. Когда у нашего педиатра закончился рабочий день, я, полчаса прождав ее за пересыхающими, почти без почек кустами напротив поликлиники, вылетел ей вслед, догнал за углом, чтобы ее коллеги не увидели нас из окон, и попытался уговорить выписать рецепт на пенсионерском — она только поджимала губы и головой качала: любая ревизия заметит, премии лишат; а когда я, доведенный до отчаяния — Киря совершенно не лопал то, что мы с женой могли предложить, и в свои без малого три не набирал, а сбрасывал вес,— первый раз в жизни предложил, заикаясь, взятку, она посмотрела на меня с презрением и процедила: «А еще доктор наук!» Не знаю, что она этим хотела сказать. Жена, когда я отчитывался, предположила, что я пожалел на ребенка денег и мало посулил.

Я вывалился на улицу. Дело шло к полудню, солнце пекло, и от яркого, палящего света резало глаза. Зуд под лопатками усиливался, переходил в боль; я то и дело заламывал руку и оглаживал спину, выступы лопаток и отчетливо тянущуюся цепь позвонков — все было нормально, ни опухоли, ни упругости характерной, но это ничего не доказывало, рано. Боль говорила сама за себя. Сомневаться уже не стоило. И все-таки не верилось; просто не укладывалось в голове, что это случилось со мной.

Я стоял посреди тротуара, и меня толкали то идущие влево, то идущие вправо. Все неслись. А мне уже никуда не хотелось, никуда не надо было. Еще утром я собирался зайти после чая за бельем в прачечную — кажется, ее починили; потом проехаться по фотомагазинам в поисках фиксажа — жена обижалась, что я давно Кирю не щелкал; потом отметиться на баранину — к концу месяца должна была подоспеть моя очередь... а вечером, перекусив на углу Садовой — лоток «Медея» там, я видел, проезжая мимо, опять поставили, видимо, слух, что пирожки набивают мясом больных, не могущих улететь ворон, при расследовании не подтвердился — перекусив по-быстрому, действительно заскочить в Публичку и поработать до закрытия хотя бы часок. Работу-то мне никто не отменял, за нее деньги дают. Но теперь я уже не мог, просто не мог. Я стоял и равнодушно смотрел, как разгоряченная толпа выволакивает из «Золотого улья» двух вполне приличных молодых людей, крича:

— К вам приедешь, так хлеб только по прописке, а тут навалились наши вафли жрать!

— Нас в респуплике четыре миллиона, а вас в отном короде пять! — с легким акцентом пытался объяснить один из молодых людей.— Мы вас не оппъетим!

— Да вы китайцев обожрете, не подавитесь!

Какой-то старичок, проходивший мимо и сразу все понявший — в руке

у него была большая сумка, а на груди потертого, засаленного пиджака жарко желтела звезда Героя, и он, настроенный на внеочередное отоваривание, оказался способен мыслить по-государственному,— закричал, надрывая свой фальцет и очевидно сострадая:

— Не надо! Не надо так грубо, они же отделятся!

Но только подлил масла в огонь.

— Мы первей сами отделимся на хрен!

— Остошизело паразитов умасливать!

— Пускай катятся к ерзаной матери!

До рукоприкладства, однако, не дошло. Бедняг просто оттеснили подальше от дверей магазина и утратили к ним интерес. Они отряхнулись.

— Русское пыдло,— вполголоса сказал один, поправляя галстук и затем проверяя бумажник.

— Прокнившая импе-ерия,— хмуро сказал второй, проверяя бумажник и затем поправляя галстук.

— Одну пачку я все же успел схватить,— сообщил первый, перейдя на свой нежный, с эластично приплясывающими звуками язык. Приятель хлопнул его по плечу, и они медленно, с достоинством потерялись в толпе.

Я снова заломил руку за спину — и ощутил.

Ниже левой лопатки перекатывался под пальцами едва уловимый плоский желвачок. Сгусточек.

Винг-эмбрион.

То, что только под левой, ни о чем не говорило. Через полчаса завяжется и под правой. Боль будет нарастать. Потом, когда эмбрионы укоренятся, разодрав плотно лежащие друг на друге ткани, она поутихнет, а между двумя стремительно распухающими лопаточными узлами пробежит тонкий стебель перетяжки, перехлестнет позвоночник — и тогда, при взаимоподпитке зародышей, процесс пойдет еще интенсивнее...

Да куда уж интенсивнее. Прошло два часа, а уже узел. Мне осталась неделя, не больше.

Если я за это время не доберусь до своих, я никогда их больше не увижу.

И они, наверное, даже не узнают, что со мной. Будут ждать, будут плакать... Кирилл будет спрашивать маму по двадцать раз на дню, когда я приду, и она не сможет ответить. И осень настанет; и осенью, и возможно, даже зимой жена будет вздрагивать от гулкого звука ночных шагов на затихшей черной улице и бежать к окну посмотреть, кто идет; и вскакивать от любого звонка, срываться к двери ли, к телефону... И в милиции ей будут говорить: не обнаружен, ищем, не волнуйтесь...

Осенью?

Да у меня же их талон на билеты на сентябрьскую электричку!

Если я до них не доберусь, как же они вернутся в город, когда у жены кончится отпуск?

ПОТУГИ

Домой я приполз, совершенно обессилев от боли и отчаяния. В автобусе меня изрядно подавили, и привычная давка на этот раз оказалась невыносимой — эмбрионы были донельзя чувствительны, малейшее нажатие отзывалось в них сверлящей вспышкой, пронзавшей тело до легких, до схлопывавшегося от болевого шока сердца; я дергался и, глуша крик, закусывал губу при каждом толчке, при каждом тяжком подскоке усталого автобусного тела на очередной выбоине, когда плотная, как ком лягушачьей икры, масса склеенных от пота людей упруго и слитно встряхивалась...

Я попытался вызвать такси, но было занято. Тогда газетой, наполненной дословным изложением вчерашних докладов, я смахнул тараканов с письменного стола и принялся за письмо. Мне все время хотелось вылезти из рубашки и посмотреть в зеркало на свою спину, и я изо всех сил не делал этого — смотри не смотри. Боль пригасла, и только шустрые, как тараканы, иголочки онемения плясали по напряженно растягивающейся под давлением

изнутри коже. «Дорогая!» — медленно написал я, зачеркнул и написал: «Милая!» И сразу сам себе напомнил гротескного Штирлица, наподобие последней серии «Мгновений» — когда тот пишет по-французски жене: «Моя дорогая!», потом зачеркивает, потом долго думает и пишет: «Дорогая!», а потом, кажется, сжигает листок и говорит, что действительно не стоит везти записку через сколько-то там границ. Что там границы, господи! Если бы только границы! «Я ни в чем не виноват и никогда ничего такого не хотел. Ты знаешь. Но что-то происходит в организме — без всякого сознательного желания, без всякого предупреждения, само собой, как будто где-то за морем, а не внутри твоего собственного тела — и ничего нельзя поделать. Как землетрясение. Если я пойму, что не успею с вами увидеться, я отправлю письмо и вложу талон. Но, пожалуйста, верь — я старался...» Нет, не получалось у меня. Я снова набрал 312-00-22, и снова не пробился. Я встал, заломив руку, непроизвольно огладил спину — перетяжка уже сочилась между двумя круглыми и твердыми, как древесные грибы, подкожными опухолями. Можно было разреветься, совершенно по-детски, все равно никто бы не увидел, глаза жгло, словно кислотой, горло сжималось и вздрагивало. За что? Это мой дом, я вырос тут, жил тридцать шесть лет, работал — и плохо, и хорошо, как когда; любил, с сыном играл в хоккей, в солдатики, книжки ему читал и собирался читать и впредь, вон, сборник сказок ему купил на той неделе по случаю, такие картинки!.. И я должен все это покинуть! За окном пластались и горбились просторные, далекие, разные, разновысотные крыши окрестных домов, все тех же, что в пору, когда с отцом играл в солдатики я, они не менялись, а я менялся неудержимо, и с этим ничего нельзя было сделать, ничего, ничего. Что будет со мной через неделю? Где я окажусь? Я не хочу, я хочу здесь! Далекий сверкающий купол Исаакия висел над волнами крыш, с этого расстояния он казался невесомым, он парил, отбрасывая золотые, тонкие, как раскаленные нити, блики невидимых отсюда граней — но он-то весом, он останется! Я снова позвонил в такси, долго не было гудка; я, всхлипывая и все оглаживая спину — так язык сам собой тычется в новую пломбу или в ямку вырванного зуба, и никак не запретить ему этого, стоит лишь отвлечься, он уже там,— ждал, ждал, будучи уверен, что не соединилось, сигнал заглох где-то в хитросплетениях проводов и надо перенабирать. Но в трубке щелкнуло, и певучий женский голос начал с полуслова: «...вет, вы на очереди. Ждите ответ, вы на очереди. Ждите ответ, вы на очереди». Придерживая трубку плечом, огладил спину. «Ждите ответ, вы на очереди». Придвинул бумагу, взял ручку. «И Кирюшку поцелуй от меня». «Ждите ответ, вы на очереди». «Не знаю, откуда это у меня. Но ведь и никто не знает, откуда это. Я жил, как раньше, просто уставать больше начал, но ведь от этого не может быть, это просто возраст уже сказывается, да и жизнь стала напряженнее». «Ждите ответ, вы на очереди». «В очередях буду отмечаться, пока смогу, я на творог занял, на баранинку, на виноград на сентябрь записался, на скороварку... Постараюсь везде объяснить, что получать будешь ты, номерки перепишу тебе, только не перепутай, какой куда. Талон на билеты действителен с первого по пятое сентября, придешь в Рощино на станцию, в крайнем левом окошечке, в любой из этих дней, заплатишь тридцать семь сорок и вам дадут билеты на текущий день. Только постарайся заранее подготовить деньги точно, там всегда нет сдачи, кассирша очень злится и может не дать билет». «Ждите ответ, вы на очереди». «Кире я купил с рук книжку, оставлю на столе, на видном месте. По-моему, хорошая, и очень добротные иллюстрации, звезды, кипарисы, море... Как в Крыму, помнишь? Какая луна в окно светила, прямо над горой, и цикады... Сказки для пятилетних». «Ждите ответ, вы на очереди». «Наверное, Кире еще рановато, но ведь не протухнет, пусть покамест смотрит картинки. Там все в роскошных турецких шароварах, минареты повсеместно...» «Ждите ответ, вы на очереди». Волоча телефон за собой — длинный провод с шуршанием потянулся по полу,— я, не в силах дальше писать, подошел к окну. «Ждите ответ, вы на очереди». На площади перед райкомом стояла умеренных размеров толпа с лозунгами, стояла спокойно, из ее угла торчал, как значок римского легиона, шест с крупной надписью: «Демонстрация разрешена». «Ждите ответ, вы на очереди». С такого расстояния не все лозунги я мог разобрать, но некоторые

читались отчетливо. «Перестройка — да! Анархия — нет!» «Не позволим вбить клин между народом и партией, героически взявшей на себя ответственность за результаты своих действий и возглавившей процессы обновления!» «Критикуя воина, ты критикуешь всю армию! Критикуя всю армию, ты оскорбляешь память павших!» «Ждите ответ, вы на очереди». На демонстрантов не смотрели, взмыленный народ несся туда-сюда мимо, был конец рабочего дня, улицы переполнены, все спешат. Казалось, стоящих на солнцепеке вообще не замечают. Но когда из райкома несколько дюжих ребят гуськом вышли — вахтер придерживал громадную дверь — с подносами, уставленными почерпнутой в закрытой столовой снедью и начали обносить демонстрантов, чтобы те подкрепились, бегущие стали останавливаться, у многих вскинулись к лицам подзорные трубы и бинокли — посмотреть, чем кормят.

«Ждите ответ, вы на очереди. Ждите ответ, вы на очереди. Ждите ответ, вы на очереди».

Я не мог больше. Спину тупо ломило; казалось, плоть едва слышно хрустит, потрескивает от напора твердо взбухающих новообразований. Я положил вежливо и монотонно бубнящую трубку на стол, придавив ею листок недописанного письма, выгреб из пиджачного кармана мелочь и пошел вон из квартиры. Приходилось держаться очень прямо, впервые за много лет я следил за осанкой. Я тебе доску к спине привяжу, говорила когда-то мама, чтоб не сутулился... Стоило лишь чуть-чуть ссутулиться привычно, и накаленная проволока перетяжки впивалась в щель между позвонками, будто готова была разрезать хребет. Секундами накатывало ощущение, что идти стало легче,— и тут же исчезало. Иллюзия, конечно, нервы. Вес начнет уменьшаться дня через два-три. Течение болезни было описано досконально, я все это читал, изумленно и отстраненно ахая, все это знал, но никогда мне даже в голову не приходило, что меня это может коснуться. Не может, не может! Ну ведь не может... В ушах сам собой бубнил телефонный голос. На провонявшей гниющими отбросами лестнице я привычным уже движением бережно, стараясь не потревожить опухолей, огладил спину. Нет, со стороны еще ничего нельзя было заметить. Но я все равно отдернул липнущую к потной коже рубашку, чтобы болталась посвободнее, скрадывая, скрывая очертания меня. И все равно на улице, среди снующих по своим делам усталых людей, мне чудилось, будто все смотрят на меня и сверлят взглядами сзади.

Когда освободился автомат, я втиснулся в прокаленную, прокуренную кабинку, залитую яростным предвечерним сиянием; вставил гривенник и набрал домашний номер директора института. Был исчезающе малый шанс — у директора дача в Горьковской. Дачевладельцам, в обмен на сданные овощи и фрукты с участков, выдавались недельные сертификаты на проезд в пригородном транспорте того направления, на котором находилась дача,— и, хотя передавать сертификаты в чужие руки формально запрещалось, установить подлог было практически невозможно, разве лишь контролер попадется, случайно запомнивший лицо истинного владельца; ни номера паспорта, ни фотографии на сертификате пока не полагалось. Директор был дома, ответил — и я так обрадовался, как если бы мы уже договорились обо всем.

— Аркадий Иванович, здравствуйте,— сказал я.— Пойманов вас беспокоит.

— Здравствуйте, здравствуйте, коллега,— приветливо сказали в трубке, и я обрадовался снова.— Слушаю вас. Какие-то проблемы?

— Да, вот хотел... узнать,— слова вязли в горле. Я понял, что не знаю, как просить. Ведь объяснять придется.— Вы... вы на дачу не собираетесь в эти дни?

— М-м-м,— с удивлением сказал директор, но тут же мобилизовался.— Представьте, нет. Такая погода, а приходится сидеть в городе. Вы же знаете, какой напряженный сейчас период. К тому же во вторник, вы помните, приезжают французские коллеги. Среди них, кстати, ваш давний знакомый, профессор Жанвье. Рад вам сообщить, что он специально осведомлялся, сможет ли увидеться с вами, и выражал восторг по поводу вашей последней статьи. Хотя, позвольте — разве я вам не говорил на Совете?

— Да-да, я помню,— соврал я. То есть, не вполне соврал — утром я действительно еще помнил и, стоя у молочного магазина, даже предвкушал встречу, потому что, несмотря на все их условия, на всякую там компьютеризацию библиотек и кондиционирование кабинетов, мне опять удалось обшлепать симпатичного бордосца, информацию я давно привык заменять интуицией, и как-то покамест получалось. Но за прошедшие часы все улетучилось из извилин, все стало несуществующим.— Я по другому поводу. Видите ли, мои теперь на даче, в Рощине. Мне понадобилось срочно до них добраться... ненадолго, во вторник я, конечно, буду в институте,— снова соврал я, чтобы его успокоить.— Неожиданно, внезапно понадобилось, и я просто не представляю, как это сделать. Вы же знаете, на электрички народ с февраля записывается...

— М-м-м,— сказал директор уже без приветливости. У меня упало сердце; я сгорбился и тут же рывком распрямился от бритвенной боли. Дикое, непредставимое ощущение — будто режут по живому, секут, как шашкой, да еще не по коже, а прямо внутри, прямо по кости, потому что шашка — в середине тебя.

Выхода не было. Я с отчаянием спросил:

— Вы не могли бы одолжить мне свой сертификат? Хотя бы на сутки?

— М-м-м,— сказал директор.— Но, видите ли, коллега, у меня в настоящий момент сертификаты только на вторую половину июня и далее. Старые мы все проездили, в мае посадили, что могли... а новый урожай еще не поспел, сейчас и сдать-то нечего. Право, никак не могу вам помочь.

— Понял,— глухо сказал я. Наверное, у меня был такой голос, что директору стало не по себе.

— А что, Глеб Всеволодович, у вас... стряслось? — с усилием выговорил он.

— Да так,— ответил я.— Дела семейные.

— Послушайте, коллега... Ведь не в сертификат свет клином уперся... то есть, сошелся... ну да. Возможны какие-то варианты...

— Возможно, возможны.

— В конце концов, сейчас уже пятое июня. Осталось одиннадцать дней, и мой документ заработает. Устроит вас через каких-то одиннадцать дней?

— Благодарю вас, нет,— устало сказал я. И вдруг добавил, сам уже не зная, зачем: — Я улечу скоро.

Он долго молчал — только трубка шуршала, да едва слышно играла где-то в безднах телефонной паутины музыка. Я хотел попрощаться, но тут директор спросил:

— Что?

— Улечу,— сказал я.

— Вы отдаете себе отчет в своих словах? — ледяным голосом осведомился он.

— Отдаю.

— У вас в будущем году истекает срок плановой темы. Это вы, надеюсь, помните?

— Помню. Теперь честно могу вам сказать — я все равно, наверное, не успел бы. Никак по-настоящему не взяться.

— Вы пять лет зарплату получали под эту монографию!

— Попробуйте вычесть ее из зарплаты моей... вдовы.

Он опять помолчал. Потом опасливо спросил:

— Это точно?

— Абсолютно.

— Я попробую что-то придумать,— неуверенно сказал он.— В понедельник у наших соседей по корпусу пойдет машина в Выборг за жидким азотом-двенадцать... Завтра автобус с финской делегацией уходит... Я попробую. Позвоните мне часа через два-три.

— Спасибо, Аркадий Иванович,— почти без надежды проговорил я, и он тут же дал отбой.

Ждите ответ.

Я вышел из будки.

Город плыл в мареве. Сверкали окна, темнели окна. Колыхался густой зной. Пахло асфальтом и бензином, машины шли стеной, люди шли стеной, стены стискивали машины и людей. От сознания того, что все это скоро исчезнет для меня, хотелось выть. Я шел домой, держась до нелепости прямо, почти запрокинувшись, а в голове и в горле пульсировало: последний раз. Последний раз. Что последний раз? Все.

Такси.

— Такси! Эй, такси! — чуть руки не оторвались, как махал.

Визг тормозов.

— В Рощино поедете?

— Ты что, командир, совсем оборзел?

В почтовом ящике белело — я открыл машинально. Это была открытка из «Детского мира» — уведомление, что наша очередь на коляску продвинулась еще на пятьдесят человек и просьба подтвердить актуальность заказа. Заказ мы сделали за полтора года до появления Кири, но месяц от месяца очередь подвигалась все медленнее, и теперь мы с женой шутили иногда, что подойдет она аккурат, когда коляска Кириным деткам понадобится. Нам же в свое время приходилось изворачиваться; я клеил коробы из машинописных страниц, пуская на это свои черновики, наброски и начала статей, довести которые хронически не хватало времени и уже ясно было, что никогда не хватит, а вместо колес приспосабливал бобины от старого магнитофона — это выручало, но произведения получались недолговечными, бумага размокала и лопалась, стоило Кире описаться на прогулке, тогда приходилось клеить сызнова. Счастье, что я в свое время столько написал,— напи́сал, как после рождения Кири стала говорить жена; сейчас такое количество бумаги просто неоткуда было бы взять. Завтра надо бежать в «Детский мир» и оставить очередную открытку. Завтра. Господи, завтра. Неужели не уеду? Все равно как-то надо забежать, очередь терять нельзя. Трубка бубнила, лежа на письме, ясно было, что именно она бубнит, но я все равно поднес ее к уху мокрой от пота рукой. «Ждите ответ, вы на очереди. Ждите ответ, вы на очереди». Два часа. Или три. Это значит, между семью и восемью. Может, он все-таки сделает что-то? Он ведь влиятелен... Полчаса уже прошло. Чем бы заняться? С дальнего угла стола с издевательским призывом смотрела дочитанная до половины диссертация, в среду я должен оппонировать. В среду. Смешно. Безо всякой пощады давя тараканов, я пошел в туалет, достал из шкафчика за трубами половую тряпку. С мазохистским наслаждением чувствуя, как перепиливается позвоночник, я стал тщательно мыть пол, время от времени замирая и сквозь шумное клокотание сердца прислушиваясь к голосу из трубки. «Ждите ответ, вы на очереди». В глазах темнело от боли. Вот так тебе, бормотал я. Вот тебе, вот. Болен, но могу. Коридор, кухня. Комнаты. Рукава рубашки промокли до локтей, но я не решался их закатать — рубашка высохнет, а вот если потускнеют и станут неразборчивыми номера, которыми руки исписаны от запястий до плеч... Куда там Замятину с его номерами вместо имен! Куда там концлагерям, где татуировали пять-шесть аккуратных цифирок! Имен никто не отменял, но никто ими не интересовался; а номера мы пишем себе сами: за хлебом ты шестьсот восемьдесят второй, а за мармеладом пять тысяч трехсотый, и не дай тебе бог перепутать! Все. Полы влажно отблескивали, и по квартире плавал теплый, душноватый запах сырого паркета. Замер, прислушался. «Ждите ответ, вы на очереди». Мытье полов заняло только час. Как много времени отнимает быт, стоит только захотеть чем-то настоящим заняться — и как быстро все можно сделать, если надо убить время! Я вымыл унитаз. Потом надраил газовую плиту на кухне. Вот тебе, вот. Вернулся в комнату, упал в кресло совершенно без сил и со стоном отдернулся, подавшись вперед,— в спину будто всадили два до красного каления доведенных стержня. Откидываться по-удобному я тоже теперь не мог.

В трубке щелкнуло, и возник новый голос. Издалека было не разобрать слов, но чувствовалось, что они — иные. Выпадая из шлепанцев, я рванулся к телефону, сердце обмирало от недоверчивой надежды: неужели дозвонился? И сразу: интересно, на какое время дадут машину? И сразу: надо отзвонить Архипову, что помощь уже не нужна. И сразу: на моторе до Рощина час, еще

засветло буду! То-то они обрадуются! Книжку, книжку Кире захватить! И талон... Господи, да как же я ей скажу?! Я подхватил трубку и успел услышать конец фразы: «...будет снят. Благодарю за внимание».

— Алло! — крикнул я.— Мне нужна машина как можно ско...

Голос, не слушая меня, возник снова, и просьба умерла.

— С вами говорит электронный учетчик производства совместного предприятия «ИБМ — Проминь». Уважаемый товарищ! Вы непозволительно долго ведете телефонный разговор, перегружая общественную сеть коммуникаций и препятствуя нормальному общению граждан. Поэтому ваш телефон отключается на недельный срок. Не позднее завтрашнего дня вы должны внести штраф в размере семисот сорока шести рублей пятидесяти копеек по адресу: Синопская набережная, четырнадцать, отдел внеочередных платежей, в противном случае ваш аппарат будет снят. Благодарю за внимание.

Я постоял еще секунду, уже ничего не говоря и не прося, затем помертвелой рукой положил помертвелую трубку. В ней было тихо. Ни дальней музыки, ни треска. Все. Не ждите ответа.

Было без четверти восемь. Я осторожно огладил спину. Без пиджака на улицу мне уже не стоило выходить, рубашка отчетливо натянулась на двух выпирающих, словно из литой резины, горбах.

Киношники отсняли демонстрантов, и те начали расходиться, сворачивая лозунги и дожевывая оставшиеся бутерброды с севрюгой. Зной шел волнами, изредка перемежаясь порывами затхлой прохлады из проходных дворов. День истекал — первый из шести-семи, что мне остались. Я вошел в будку телефона. За эти три часа в ней появилась новая надпись: «Если встретишь наркомана — раздави, как таракана!» Неприличных слов теперь уже почти не писали, всколыхнулись новые, социальные интересы. Прямо над аппаратом было вырезано глубоко и резко: «Люби свою Родину!» А на полочке слева было начирикано шариковой ручкой: «Честным кобелям СПИД не страшен. А будешь сношаться с кем попало—сдохнешь, как Сталин, без причастия!» Я разглядывал все это, прижимая горячую трубку к щеке, а длинные гудки мерно улетали в квартиру директора и никого не могли дозваться. Десятый, одиннадцатый, двенадцатый... Я нажал пальцем на рычаг и набрал снова. «Если встретишь наркомана — раздави, как таракана!» «Фашистов мы разгромили, но курумпированную часть аппарата еще нет». Написано было именно так. Пятнадцатый... семнадцатый...

— Алло! — произнес заспанный, крайне недовольный женский голос.

— Добрый вечер. Аркадий Иванович может подойти?

— Аркадий Иванович не может подойти. Аркадий Иванович улетел в Москву.

Трубка едва не выпала из моей руки.

— Как улетел? Куда?

— Ну говорю же вам русским языком — в Москву. В командировку, час назад. Завтра шестидесятилетие академика — секретаря Отделения АН, в которое входит папин институт,— слова «папин институт» голос произнес с такой небрежностью, а слова «академик-секретарь» — с такой лихой привычностью к титулам, что тщета разговора стала очевидной. Но я все-таки спросил — с удивительным для самого себя спокойствием, равнодушием даже:

— Это Глеб Пойманов. Мы с ним созванивались три часа назад по важному делу. Он ничего не просил мне передать?

— Нет,— почти негодующе ответил голос.— Он весь исхлопотался...

— До свидания,— сказал я и повесил трубку.

Стоял в будке и не выходил. Куда бы еще позвонить? Ничего не шло на ум. Только всякая фантастика роилась: рвануть на Финляндский и дать взятку диспетчеру... если удастся его найти... Обмануть перронных контролеров и поехать зайцем, авось не нарвусь на контроль линейный... Выйти из города по Приморскому шоссе и голосовать всякую машину, какая-нибудь да подбросит, если денег пообещать побольше... Я вынул бумажник и посчитал деньги. Денег было негусто. Если учесть, что мне завтра на Синопской штраф платить... Потом я подумал про Тоню.

Она работала прачкой в яслях, а ее брат — механиком в гараже какого-то завода. А мать их, продавщица, жила в Ушкове, и они часто к ней ездили, угоняя на день-два какой-нибудь грузовик или «рафик» из этого же самого гаража — не на электричку же всякий раз пробиваться, не на автобус же, все равно отсутствия машины никто не замечал, в гараже всегда все в разгоне. Мы познакомились с Тоней год назад, случайно — я возвращался с очередной конференции на редкость прилично одетый, в на редкость приподнятом и воодушевленном состоянии, а это всегда очень бросается в глаза в нашей задерганной толчее — и вдруг красивая девушка ни с того ни с сего решила со мной познакомиться прямо в метро. Я так никогда не умел и не пробовал, а у нее получилось элементарно: как проехать туда-то? ой, что-то не пойму... Простите, но вы показать не могли бы?.. Часа четыре мы просидели в каком-то скверике, до июльской темноты курили пачку «Салема», зачем-то подаренную мне, некурящему, моим бывшим стажером Реджи Уокером,— Тоня тянула сигарету за сигаретой, и сначала, как сигареты, тянула составленный из одинаковых душных звеньев разговор, единственный смысл которого — якобы общаясь, не расходиться; а потом как-то размякла, стала собой и стала говорить о себе. Я слушал и, как всегда и всем, быстро начал сочувствовать; она рассказывала, что руки совершенно не заживают от стирки, рассказывала, как любит возиться с детьми и сама давно бы родила, да не на что растить, рассказывала, как еще школьницей ее вывалил на дорогу шофер самосвала, которого она вечером попросила подвезти от Солнечного до Ушкова, но которому не дала, и он, согласившись для виду, просто поднял кузов на ходу — и, простецки задрав юбку, показывала длинный шрам на бедре, дерганым, бугристым синим зигзагом нырявший под чистенькие трусики с изображением ягоды вишни... Когда «Салем» иссяк, она сказала: «Никогда так много не курила, прям тошнит...» — «Зачем же?» — «А чтоб не уходить».— «Все равно ведь надо». У нее дрогнули губы, она, поняв мои слова как намек на созревшее прощание, быстро встала и качнулась — я, вскочив, поддержал. «Крыша поехала»,— застенчиво сказала она. Покосилась на меня, отчетливо понимая, что говорит опять стандартную, как сигарета, фразу, но искренне, и боясь, что я не пойму, что искренне: «Вы меня не проводите?» Я проводил. Едва мы вошли в квартиру, у дверей, частями застекленных, за которыми тянулись пропахшие нечистой жизнью недра громадного коммунального лабиринта, возникли лица, и отчетливые голоса провожали нас, передавая друг другу, пока мы путешествовали под сушащимися поперек коридоров трусами и комбинациями, под пеленками и пятнистыми, истертыми до сквозного мерцания простынями, под гирляндами прищепленных один вплотную к другому штопаных-перештопанных носков, мимо груд наваленных вдоль стен пустых бутылок, множественно звеневших, когда под нашими ногами прогибались хлипкие крашеные половицы: «Гляди, гляди, Тонька-то опять нового привела!» — «Да окстись, Никола, к ней уж, почитай, месяца три никто не ходит, измаялась девка вконец!» — «Старый ухажер-то...» — «А галстуков таких теперь уж не носят».— «С по́ртфелем, как генерал-майор...» Мы вошли, она захлопнула дверь, рывком обернулась ко мне, глаза ее стали громадными, темными. «Я никогда так ни с кем не разговаривала»,— призналась она и стала меня целовать, а потом — потом уже я, хоть и скупо, но тоже, не удержавшись, рассказывал ей о себе, а потом мы обменялись рабочими телефонами: в этой сумеречной конюшне не было телефона, у меня дома была жена; и я ушел, точно зная, что не позвоню никогда, но почему-то совестясь выбросить клочок бумаги с торопливо и призывно набросанной цифирью, а она позвонила сама; и летом, и осенью, и в начале зимы еще звонила мне на работу, дрожащим голосом спрашивала меня по имени-отчеству, звала в гости, обещала пожарить картошки со своего огорода, угостить маслятами, которые собирала и мариновала, мечтая угостить ими меня, и рвала мне сердце. «Тонюшка, ну не трать ты на меня время...» — «На кого ж еще и тратить-то?» — «Ну что тебе с меня?» — «Все».

Но я так и не пошел, а теперь, в отчаянии, вспомнил.

Я сразу узнал ее голос.

— Тоня? Здравствуй, Тоня.

И она сразу узнала мой голос.

— Глебушка! Надо же! Здравствуй! У тебя что-то случилось?

И мне стало легко и почти не стыдно. Только пиджак нескладно топорщился на спине.

В трубке отдаленно рокотали стиральные барабаны.

— Да, Тоня, случилось. Ты можешь сейчас разговаривать?

— Конечно!

— Послушай. Вы к маме не собираетесь в ближайшие дни?

— Хочешь отдохнуть? Сколько раз я тебя звала...

— Нет, Тоня... Тоня. Мне нужно... Мои сейчас в Рощино, на даче, и мне нужно как можно скорее до них добраться. Извини меня, что я прошу... Но я просто в чудовищном положении, и мне не к кому обратиться, кроме тебя.

Она помолчала.

— Я позвоню Толе, Глебушка. Мы не собирались пока, но я узнаю,— ее голос был чуть-чуть погасшим, но таким же мягким, как вначале.— Может, он сумеет.

— Как мне узнать?

Она опять помолчала.

— Через полчаса я кончаю работать, может, даже пораньше вырвусь, раз такое... Ты приходи ко мне, я буду дома через часика полтора и к этому времени все узнаю. Помнишь дорогу? Придешь?

Теперь помолчал уже я.

— Приду.

— А я к этому времени все-все узнаю,— повторила она.

СВЕЧА

— Ой, ты знаешь, Глебушка, я не дозвонилась пока. Его дома нет, жена сказала, к одиннадцати будет. Но ты не волнуйся, пожалуйста, я позвоню еще, буду выскакивать и звонить. А пока давай посидим немножко. Ты не торопишься?

— Нет.

— Садись сюда. Вот сюда, вот стульчик, как в тот раз. Ты ужинал?

— Нет.

— Я так и думала. Я картошечки пожарила. Котлетку будешь?

— Ну что ты, Тоня...

— Будешь, будешь! А то скучно так сидеть. И смотри, что у меня еще есть. О!

— Господи, Тоня! Зачем...

— Немножко, по рюмочке. Ну я же тебя так давно не видела. Праздник!

— Спасибо... Хватит! Вот столько...

— Конечно, и мне вот столько. Ой, Глебушка, миленький, как хорошо мы посидим! Сейчас... Солнце мне так в глаза, тебя не вижу. Задернем занавесочки, а? Видишь, у меня занавесочки новые! Плотные такие, ничего сквозь не видно. А то в тот раз вон из того окошка дядька глядел. Вот, теперь уютно. А давай свечку зажгем? Или выпьем сначала по глоточку? Ты ешь, остынет ведь! Вот, смотри, какая свеча красивая! Ты извини, я суечусь не в меру... Я уж думала, никогда тебя больше не увижу. А ты взял да и позвонил, молодец какой! Ну, по глоточку...

— Твое здоровье, Тоня.

— И твое. И твоих родных. А смотри... только обещай, что возьмешь. Обещаешь? Ну, обещаешь?

— Обещаю...

— Во-от. Это я твоему мальчику сегодня купила. Правда, симпатичный? Хитрющий, да? Чаф-чаф-чаф!

— Тоня... Нет, я не могу. Это же дорого.

— Ну могу я тебе раз в год подарочек сделать? Обещал, обещал! Твое! Ну? По глоточку? Котлетка не остыла? Как свеча красиво горит, правда? Ну, пригубь, пожалуйста.

— Тонь, а где ты водку взяла? Мы тут с другом хотели принять чуток — везде только азербайджанский по сто семьдесят три.

— Надо было меня свистнуть. Ты впредь если что — ко мне. Гоша — помнишь?.. ну, неважно... он же на разливе работает. У него казенки всегда возьмешь, хоть залейся. И сверху не хапает... Я сразу с работы туда — прыг!

— Когда ты только успела...

— А я, как ты позвонил, в десять раз быстрее шевелиться начала. Ни скуки, ни усталости...

— Почему?

— По кочану. Обрадовалась, что тебе хоть что-то от меня понадобилось.

— А почему обрадовалась?

— А потому что ты не козел.

— А что это такое?

— Ой, да все ясно, вот пристал. Чего ты не ешь? Не нравится, да? Невкусно?

— Вкусно. Просто совершенно не хочется есть.

— А ты тогда выпей. И я с тобой.

— Да меня уж и так развезло.

— Развезло... Знаешь ты, что такое развезло... Просто расслабился, и глазки стали не такие больные... Ты прям уж такой замученный пришел, сердце в клочья.

— Все замученные.

— Ой, не скажи. Многим такая жизнь по сердцу. Кричи, бегай, рви — а делать ничего не надо. А ты, я ж знаю — работал бы да работал...

— Откуда знаешь?

— Оттуда. Ой, я сама запьянела. Вот здорово! Налей теперь ты, мужской рукой. Ага, хватит. И себе, себе! За то, чтоб у нас все было хорошо. Жаркая погода какая, да? Я так рада за твоих, что они в такую погоду отдыхают на свежем воздухе. Мальчик, верно, загорел, носик облупленный... А тут — духота. Можно, я переоденусь немножко? Полегче чего-нибудь... Отвернись, пожалуйста, на секундочку. А посмотри, какой я себе купальничек скомстралила. Как тебе?

— Тоня, а у тебя шрам поблек.

— Ой, Глебушка, не надо. Ты мне просто приятное хочешь сказать, от доброты. Шрам и шрам, привыкла.

— Честное слово.

— Как тебе купальничек мой?

— Оч-чень молодежный. Если прищуриться, как будто его и нет.

— Ой, ну ты скажешь! Цирки какие...

— Неужели сама?

— Конечно. Можно, я так посижу? И ты пиджачок снимай. Что за глупость — в такую жару, в доме, этак париться?

— Я с ним сроднился, Тоня.

— Не позволю. У тебя даже личико блестит от жары. Сама сниму.

— Тоня, не надо!

— Еще отбивается! Девушка за ним ухаживает, а он отбивается! Щас раздену! А ну, руки вверх! Да ты что, драться со мной бу... Ой!

— Ну, вот.

— Глебуш... Ой, еще! Твердые какие... Глебушка, что это?

— Крылья растут, Тоня.

Она потрясенно накрыла рот ладонями и несколько секунд стояла, чуть раскачивая головой.

— Бедный... Что же теперь?

— Не знаю.

— Из-за этого тебе и надо туда?

— Да. Могу ведь даже не успеть попрощаться, Тоня. Как они тут будут без меня в этой каше — ума не приложу...

— Прости меня. Ой, какая я змея! Прости!

— За что?

— Потом скажу... Как торчат. Совсем скоро, да?

— Быстро зреет. Будто, знаешь, долго собиралось и прорвало наконец. Так обидно, Тоня, ты не представляешь... Ведь я же не хочу!

— Больно?

— Сейчас уже не очень. Только, знаешь, чудно̀ как-то. Одеревенело.

— Можно я их поцелую?

— Почему именно их?

— Потому что им больно.

— Нежная ты девочка, Тоня. Жаль мне тебя...

— А мне-то тебя как жалко, ты б знал... Сколько слышала, в газете читала один раз... А не видала. У наших-то ни у кого... Чего же это такое?

— Никто не знает.

— И куда ж ты?..

— Никто не знает.

— Я бы с тобой куда угодно полетела... Да где уж. Ты сколько весишь?

— Шестьдесят три, кажется.

— Ну! А я под семьдесят! Одни сиськи кило на четыре тянут, в каждой очереди какой-нибудь пердун да упрется локтем, как бы в тесноте... Глебушка. А Глебушка... Я ведь тоже, значит, тебя больше никогда не увижу. Давай я постелю, а? Пожалуйста...

Я не мог сказать ничего. Она подождала, умоляюще заглядывая мне в глаза, а потом купальник будто сдуло с нее порывом ветра.

И я любил ее.

Но, как бы ни обнимал, как бы ни накрывал, словно кругом визжали пули, ее собой — мне было не защитить ее и не заслонить от ее фактической нищеты, от этой комнатенки, сдавленной и безвоздушной, от просто поднявшего кузов шофера, от очередей с растопыренными локтями, от потных рук, в переполненных автобусах лезущих ей под юбку и, дождавшись, когда она заслонится сумкой, выгребающих из этой сумки ее гроши, от нескончаемого грохота вечно ломающихся смрадных барабанов, от затхлого чада полутемной громадной квартиры, запутанной, как кишечник, от «Тонька-то, Тонька — нового привела!», от вони гниющих на жаре прямо за окном, в прокаленной теснине двора-колодца баков, истекающих жижей на растресканный асфальт, гудящих роями титанических мух, от узаконенной отравы в заботливо и проворно приготовленных ею картошках и котлетах, ни от чего, ни от чего, даже от собственного ухода... и, значит, эти объятия были как бы обман, имитация, они обещали защиту, нет, они просто по определению должны были включать в себя защиту как основной свой смысл — и не давали ее; и потому, как бы самозабвенно ни распахивалась девочка подо мной, как бы ни кричала от счастья, ощутив, что в ее глубине взрывается моя бесплодная, не защищающая нежность — я не чувствовал себя мужчиной, я был кастратом, строй жизни кастрировал меня.

Но если научиться забывать это, гнать эти мысли, если сделать близость из заботы сортирным облегчением организма — наверное, это и будет козел. Наша жизнь заставляет выбирать: козел ты или кастрат; и третьего здесь не дано.

— ...Как хорошо, Глебушка. Как хорошо. И откуда такие нежные берутся? Никогда не думала, что это так бывает... Знаешь, я бы десять лет жизни отдала, чтобы вот так побыть с тобой еще разочек. Тебе понравилось, а?

Я только улыбнулся.

— Как ты улыбаешься, милый... А хочешь, я угадаю, чего ты подумал, когда увидел меня в купальничке?

— Ну, угадай.

— Ты совсем не про меня подумал.

— Ну да?

— Вот и да. Потом уже про меня и про то, чего тебе делать с бесстыжей девкой, которая сама лезет...

— Тоня!..

— А в первую секундочку ты подумал, хорошо бы подарить такой купальник жене. Угадала? Молчи, сама знаю, что угадала. Хочешь, я сошью? Скажи размер, я за три дня управлюсь.

— Тоня, ты святая.

— Тить! Святые разве трахаются?

— Все делают одно и то же. Только чувствуют разное.

— Нет, Глебушка. Я ведь тебя обманула, очень повстречаться хотела, ты меня сейчас убьешь. Брат нам помочь не сможет, они четвертый день замнач ОТК выбирают, и сколько еще проорут, неизвестно. Все раздухарились, никто не работает, гараж опечатан. Вот такая я змея. И не жалею. Потому что это лучший вечер в моей жизни. А если ты ко мне придешь через три дня, я действительно сошью твоей жене купальничек такой же, и, может, у них там баланда кончится, и мы поедем. Придешь, Глеб? Придешь?

— Не знаю... Как я могу сейчас обещать что-то? Смешная ты...

— Не понравилось. Ну, я одеваюсь тогда.

— Ох, как голос заледенел...

— Голос как голос. Ночку пореву, а вечером к Семе. Он жену с младенцем закатал родильный стафилококк лечить — звал перепихнуться, пока дом пустой...

— Зачем тебе?..

— Это уж мои заморочки. Летишь — и лети себе, не отсвечивай.

— Тоня...

Посасывая валидолину, я брел домой по мягкому асфальту. Прокипевший город медленно остывал на своей немытой асфальтовой плите и, казалось, еще чуть скворчал, шипел изредка прокатывающими авто. Млело марево, дома в улетающих прямых створах улиц колыхались в чаду. Я не знал, что делать. Или действительно пойти завтра — нет, уже сегодня — к первой электричке и попробовать сунуть кому-нибудь на лапу? Не получится же... Да и деньги надо поберечь, жене будет туго с этим, когда я... исчезну. Да, вот еще что: завтра... нет, уже сегодня... надо снять все деньги с книжки и оставить дома, либо отвезти ей, если удастся. Или послать переводом? Но процент... Ни с того ни с сего, как довершающее издевательство, поплыло перед глазами оглавление ненаписанной моей книги — все давно уже было в голове, только руки не доходили написать, оформить, выстроить текст...

Дома было чуть прохладнее. Я смахнул тараканов со стола и тупо, уже не думая ни о чем, стал на отдельный лист аккуратно, медленно переписывать номерки с рук с указаниями, который на что и — в скобках — с ближайшими датами отметок. Очень странно было ставить запредельные даты, точно зная, что меня уже не будет; нелепо, нелепо... девятого июня за скороваркой я еще успею, а вот двенадцатого — скорее всего, уже шабаш, и всю осень жена будет без «Пемолюкса». Дичь какая-то... Как же они тут справятся без меня?!

Когда я закончил, было около двух ночи, за занавесками теплилось серое глухое свечение. Глаза жгло, но о сне не могло быть и речи; да к тому же к пяти надо было добраться на Финляндский вокзал и что-то сделать. Может, перекупить у кого-либо билет? Но кто же продаст?.. или столько запросит, что вылетят все трудовые мои сбережения, и жена останется тут совсем без резерва, а ведь моя зарплата... странно, как это слово похоже на слово «заплата», заплата на бюджете, никогда не приходило в голову... и так отвалится, едва только я сгину... голова шла кругом.

Закончив, я посидел немного просто так, а потом достал из глубины нижнего ящика стола пачку старых фотографий и медленно начал их перебирать. Им было пять, семь, восемь лет — казалось, совсем все было недавно, но как все изменилось. Я любил их разглядывать в тишине, когда особенно худо становилось от бездушной безмозглой гонки, они давали мне силы, нет, не силы, больше — чувства; я смотрел на молодые — а впрочем, с виду почти такие же, как теперь, лица жены, и вроде бы откатывался душой туда, в это недавно, которое ощущалось одновременно и странно близким, и странно невозможным: в лесу на Карельском, среди золотых, свежих сосен, в прозрачном солнечном просторе Крыма... Вот же мы, чувствовал я, вот какие мы на самом деле — веселые, счастливые, свободные, жадные друг до друга и бережные друг к другу; а остальное все, что, как плесень, покрыло нас теперь,— это просто от усталости, от суеты, это наносы; стоит хоть на один вечер как-то смыть их, и сверкнем мы вот такие!..

До Крыма теперь не добраться — ни на поезд, ни на самолет билетов нет никогда, хотя и поезда вроде ходят, и самолеты вроде летают, но благосостояние увеличилось, а количество рейсов — нет; говорят, за валюту можно, но у меня ее отродясь не бывало. Да и не слишком-то тянуло туда с тех пор, как комиссия проворно доказала, что семибалльных землетрусов в Крыму уже не будет, и в сжатые сроки, очевидно боясь, что правительство передумает, угрохав на темпы миллиардов сто семьдесят сверх сметы, запустили АЭС — этак схватишь, выкупавшись в кристально чистой воде, рентген семьсот, а врач потом, как водится, скажет, что на солнце перегрелся, и даст больничный на три дня... а если еще и с ребенком?.. да и без рентген, шут с ними, но питьевой воды совсем не стало, все, что дает протараненный поперек засушливых степей канал, заглатывает охладительный контур, а перегретое сбросами побережье от Керчи до Судака киснет от сине-зеленых, на съезде об этом было заявлено со всей откровенностью...

А жена ревновала к собственным фотографиям. «Что душу травить? Меня не интересует прошлое, оно прошло — меня интересует, что сейчас и что потом»,— вот что она мне сказала еще пару лет назад, когда я предложил ей повспоминать вместе, пройтись, взявшись за руки, по нашему общему корню, неудержимо тонущему в трясине дней; а однажды дошло до скандала. Был день ее рождения, гости ушли; умаявшись насмерть стряпней, затолкав в постель перевозбужденного Кирю, она рухнула сама. К двум ночи я перемыл посуду, искипятив на нее пять чайников — горячей воды, как всегда летом, не было, шла сезонная проверка теплотрасс, а мыться при жаре можно и собственным потом, если слегка посыпаться «Пемоксолью» или, на худой конец, «Суржей», аллергии пойдут, значит, кожа изнеженная, сам виноват,— а потом, уверенный, что она уже спит, затворился в кабинете и раскинул живительный пасьянс. Дверь открылась у меня за спиной раздраженно и внезапно, фотографии на столе дернулись от пощечины сквозняка; женщина, еще хмельная, спросила с порога: «Опять онанизмом занимаешься? Живая баба в постели лежит — а он тут холодных, плоских щупает...» Коньяк и у меня журчал в церебральных сосудах; нейроны, как подгулявшие деревенские орлы, развернув гармоники, стояли в нем по колено, без сапог — я даже не попытался спрятать засушенные лепестки отцветшей жизни, в которой я мог хоть пять сезонов носить одну и ту же рубашку, и она, хоть и выгорала, но не расползалась от первой же стирки; в которой на один лучезарный морской день нам хватало для счастья грозди винограда и банки сардин, и стоило это счастье копеек семьдесят, а не сорок три рубля при условии штампа о временной прописке, за каковой, сутки отстояв под надписью «Граждане СССР имеют право на отдых», нужно отдать двести семьдесят три рубля госпошлины и тридцать с копейками комиссионного сбора; в которой я был уверен, что состояние моих близких зависит от моей чести, моего таланта, моей работоспособности, от того, что мною можно гордиться, ведь я узнаю и придумываю такое, чего не знает и не может придумать на Земле, кроме меня, никто... и сами собой, без усилий, расцветали, как на припеке, кипели, как в очаге, в голове идеи, и десятки страниц — те, из которых я клеил потом коляски — покрывались умными, безошибочными, изумляющими словами... Не по-доброму взвинченный недобрым вторжением, я ответил тихо: «Зато этих плоских вон сколько, и мы с ними друг друга любили...»

Была истерика. Жена плакала. Жена кричала: «Уходи! Невыносимо тебе?! Дохлая я, дохлая, да? А сам-то! Ну уходи — хоть на все четыре стороны, хоть к библиотекарше своей! Думаешь, дожидается еще? Ну иди!! Но мы же умрем! Женщина не может одна и зарабатывать деньги, и искать, где на них что-то купить! Я же с ума сойду, я же сдохну на бегу, в какой-нибудь давке, и твой сын умрет с голоду в пустой квартире! А ты иди! Рисуй свои закорючки, академиком станешь!»

Состояние близких зависит лишь от того, насколько быстро уменьшаются номерки на твоих руках.

Я убрал фотографии и подошел к окну. Я держался очень прямо и все равно ощущал невыносимую, тяжелую горбатость. Твердое сырое полено, вздувшееся внутри меня, давило легкие; было не продохнуть; было не забыть

ни на миг. Я открыл раму, уличная духота дотронулась до духоты в квартире и замерла на пороге окна. Спящие, безмолвные дома витали в прозрачной мгле, пустые улицы, странно просторные, серыми лентами катились внизу. Неподвижность.

Из дома напротив вышла пара.

Парень и девушка, оба в брюках, оба обнаженные по пояс. Они держались за руки. Им оставались минуты. Крылья девушки были напряжены, развернуты просторным мерцающим крестом — даже отсюда было видно, как в густом безветрии шевелится, переливаясь бархатными волнами, нащупывая направление, ориентационная шерстка. Они заметили меня, парень что-то сказал негромко, девушка звонко засмеялась в бескрайней ночной тишине и, помахав мне светлой рукой, крикнула: «Счастливо оставаться!» «Квакай дальше, отец!» — крикнул парень. Он отставал немного, с его плеч будто громадный бесформенный тюк свисал до земли. Больше они на меня не оборачивались. Девушка прижалась грудью к локтю парня и, заглядывая друг другу в глаза, они стояли и ждали.

Где-то вдали, за райкомом, прогрохотал, лязгая раздрыганным железом кузова на измолоченном асфальте, порожний грузовик. И снова все замерло и затихло.

Трудно сказать, когда именно началась эпидемия. Сначала, пока случаев были единицы, взлеты объявлялись мистикой, досужей болтовней, вроде Бермудского треугольника или летучей посуды — но теперь по стране, по данным ЮНЕСКО, в иные дни доходило до полутора сотен. Новая загадка свалилась как снег на голову. Одни валили на нитраты и вообще на захимиченность бытия; другие кивали на дальние последствия Чернобыля и Карачая, а то и вообще на мутагенное воздействие полузабытых, казалось, лишь в архивах оставивших след ядерных испытаний эпохи пятидесятых; а подчас, полушепотом, поговаривали, что скорее дело в некоем психогенном воздействии. Существует ли возбудитель? Если да, то как он передается? Если нет, то по какому принципу недуг выбирает очередную жертву? Что представляют из себя винг-эмбрионы? Как внедряются они, как укореняются? Как и за счет чего происходит прорастание? Что обеспечивает подъемную силу и энергию переноса, ведь не по ветру же он идет, ведь не секрет, что вектор сдува, насколько можно судить по запоздало включенной статистике, никогда до сих пор не был ориентирован внутрь страны, и поэтому некоторые идеологи уже вещали с видимой доказательностью, будто славянство сгенерировало наконец некое особой компрессии очистное биополе, вытесняющее на задворки мира всех изнеженных, тонкокожих и нервных полукровок... Как и почему крылья безболезненно, за несколько часов, отмирают после переноса?

На все эти вопросы ответов не было.

Но последствиям заражения невозможно было препятствовать. Предпринимались попытки, особенно на первых порах, стихийно, подстерегать больных в момент отрыва и придавливать к земле чем-нибудь тяжелым — гусеницами бульдозеров, ковшами экскаваторов, бетонными балками или шпалами... однако не удавалось избежать членовредительства. Предпринимались попытки изолировать больных в наглухо запертых помещениях без окон — но сила полностью созревших эмбрионов была такова, что они либо проламывали перекрытия и словно из пушки выстреливали искромсанного человека в небо, либо расплющивали его насмерть, лопаясь при этом сами и заливая помещение кровью и странной светящейся лимфой... Предпринимались попытки ампутации эмбрионов на разных стадиях созревания. Одну из них осуществил на Песочной мой школьный приятель, блестящий хирург-онколог; по категорическому требованию родителей, не желавших, чтобы их ребенок оказался изнеженным полукровкой и тем бросил и на них некую тень, он пробовал удалить семичасовые эмбрионы у двенадцатилетней девчушки, книжницы и хохотуньи... Мать отравилась потом газом. А мой друг перестал оперировать навсегда, он поседел, и пальцы начинали дрожать при одном виде инструментов. Девочка погибала три дня, с почти непрерывным криком, наркоз не действовал, никакими обезболивающими не удавалось купировать шок, и швы на спинке раз за разом непостижимо лопались с отчетливым

треском — будто взрываясь изнутри, выхаркивая на простыни, на стены палаты переставшую сворачиваться кровь, волокнистые клочья черных тканей, осколки распадающихся, как труха, лопаток и позвонков...

Шерсть на крыльях девушки установилась, вздыбленно замерла, выбрав. Девушка мягко взмыла — парень удержал ее за руки, видно было, как его тряхнуло. Она что-то сказала, он смолчал, с усилием подтягивая ее обратно вниз, к себе. Тюк за его спиной трепетал. Девушка снова засмеялась, нагнулась под своей упругой плоской крышей и — мне плохо было видно теперь их головы, крылья заслоняли — кажется, поцеловала парня.

Словно этого ему и не хватало. Уродливая груда на его спине вдруг с мощным утробным хлопком развернулась, выбросившись в стороны двумя громадными лопастями; по мгновенно напрягшейся шерсти прокатилась стремительная, светящаяся от искр волна и, не разнимая рук, оба свечой пошли вверх — сначала неспешно, потом все быстрее. Парень захохотал, заулюлюкал молодецки — казалось, он должен перебудить полгорода; а когда они пролетали мимо моего окна, сунул руку в карман и, продолжая победно вопить, что-то прицельно швырнул. Две маленькие плоские тени, как летучие мыши, прошелестели у моего лица и обессиленно шлепнулись на пол.

Это были их паспорта.

Когда я снова высунулся, в пепельно-голубом предрассветном небе виднелась лишь продолговатая сдвоенная точка.

Я кинул в рот сразу две таблетки валидола и разгрыз на осколки, чтобы растворялись поскорее.

А потом — потом, едва не сбившим меня с ног ударом, зазвонил мой отключенный телефон.

СПАСИТЕЛЬ

— Здравствуйте, Глеб Всеволодович,— сказали там.— Узнали?

— Конечно, Александр Евграфович,— ответил я и на обмякших ногах опустился в кресло.— Доброе утро.

— Ценю ваш такт,— сказали там.— Утром еще и не пахнет. Но с вечера я не мог вас застать — сначала занято, потом — никого... Поэтому решился побеспокоить ночью — время, как вы лучше меня понимаете, дорого.

— Почему время дорого? — с каким-то предсмертным нахальством делая вид, что ничего не понимаю, спросил я.

— Мы в курсе ваших неприятностей,— сказали там.

Животный ужас, вколоченный в грациозные, беспомощные и податливые, как девичьи лона, спирали ДНК Скуратовым, Ромодановским, Ежовым... да сколькими, сколькими!.. на миг погасил рассвет.

— Каким образом? — сипло спросил я.

— О, не волнуйтесь, на сей раз никакого «стука»,— по тону чувствовалось, что там улыбнулись.— Что вы! Просто ваш Архипов дал мне знать, что вы в затруднительном положении. Дозвониться до вас он не смог, и, поскольку спешил на самолет, передоверил дело мне, памятуя о нашем с вами давнем знакомстве. Я хотел бы встретиться с вами как можно скорее, потому как не исключено, что мы сумеем вам помочь. Хотите, я подъеду?

— Хочу,— сказал я.

Знакомство действительно было давним. Еще в восьмидесятом, в аспирантские мои времена, Александр Евграфович — тогда, кажется, капитан, руководил маленькой группой, которая, до инфаркта перепугав мою мать и деликатно перетряхнув мой дом, удалила из него кучку произведений, в последние годы наперебой публикуемых всеми лучшими журналами. Фатальных последствий не было, мне даже дали защитить свой диссер, но изредка, раз в два — два с половиной года, Александр Евграфович позванивал мне, как приятель, чтобы задать какой-нибудь вопрос или дать какой-нибудь совет. Первое время я нервничал, потом привык на вопросы отвечать нелепыми советами, а на советы — нелепыми вопросами.

Брезгливо смахнув газетой тараканов, он уселся напротив меня, и кресло

придушенно пискнуло, словно в его хрупкую плетеную чашу уселся своими котлами, валами, фрикционами, поршнями и заклепками весь тысячетонный государственный аппарат, выкованный на вековых оборонных заводах.

Государство пришло ко мне снова.

Он тоже постарел.

— Ничего не переменилось,— сказал он, озираясь и закуривая.— Все как стояло, так и стоит. Даже креслице это... Только книг сильно прибавилось. Хватает времени на книги?

— Как когда.

— Понимаю вас, понимаю... У меня тоже руки редко доходят. «ГУЛаг» только сейчас и прочел толком... раньше-то, если попадался, сразу по описи сдавать приходилось. Поднаврал старик в деталях — но в целом проза крепкая.

— А я с тех пор и не перечитывал как-то.

— Что разрешено — то неинтересно? — усмехнулся он, держа сигарету в отставленной руке. Дымок поднимался вверх почти без извивов. Свечой. Я промолчал.— Конечно, вам-то не в новинку... хотя, помнится, в те поры чтение Солженицына вы категорически отрицали. Ну да ладно, это, извиняюсь, теперь для широких масс забава. «Самолет по небу катит, Солженицын в нем сидит. „Вот те нате, шиш в томате!" — Бёлль, встречая, говорит!» — продекламировал он с нарочитым нижегородским прононсом. Затянулся, прищурился, посерьезнел. Кресло пискнуло.— А вы, значит, решили обойтись без самолета?

Я промолчал.

— Негоже, уважаемый доктор, негоже. В такое время покидать страну. Бросать! Когда каждый порядочный человек на счету! А семью, значит, сынишку трехлетнего, значит — под колеса локомотива истории?

Я промолчал.

— Карьеру вы сделали. Зарабатываете для гуманитария неплохо, да и жена, врач, кое-что в клювике приносит. Не бедствуете. У начальства на счету на хорошем. Мы вам никогда никаких препон не чинили — в симпозиумах участвуете, защищаете честь отечественной науки... Что вам не нравится? Пора перебеситься, пора!

— Не нужен я никому,— вдруг сказал я. Он даже крякнул.

— А вы, батенька, что думали? Конечно, не нужны! Не те времена, чтобы сидеть в башне из слоновой кости! Изящными искусствами страну не накормишь. Но представьте, вынесет вас куда-нибудь, где вам ухитрятся найти применение! Статьи-то ваши переводят, стажеры ездят благоговейные... письма такие пишут — зачитаешься! Хотя, между нами говоря, я думаю, просто с жиру бесятся... не могу я себе представить, чтобы нормальный здоровый человек всерьез интересовался, извиняюсь, социоструктурной этикой... Но, скажем, найдут. Это ли нам не плевок? Пишите здесь! В стол пишите, побольше, чтобы груды начатых разработок лежали, черт возьми, может, и пригодятся! — он разгорячился, видно было, что говорит о наболевшем.— Малевич полвека в запасниках гнил — а теперь выставки, выставки, валюта стране! Булгаков, когда помирал, не всем даже почитать мог дать свой гениальный роман — а глянь: на все языки мира переведен, вон она, советская литература, какая,— не Фадеев проспиртованный! Или этот... ну, первый в мире словарь крючков каких-то восточных составил... расстреляли его случайно как японского шпиона, но нынче-то сорок мировых университетов на его пыльные тетрадки молятся! А вы?! Вам все при жизни подай, на блюдечке, как зарплату! Негоже!

— Булгакова жена любила,— сказал я.— Она его рукописи берегла. Она по редакциям ходила...

— Ну, тут уж что можно сказать,— он развел руками.— Романтическая натура, до революции воспитана. А может, он просто, извиняюсь, как мужик покрепче вашего был? Вы витаминов побольше ешьте... чем на крылышки-то соки тратить. Коньячок тоже помогает — грамм пятьдесят перед... ну, перед.

— Ох, не травите душу, Александр Евграфович. Что ж я, нарочно, что ли? Вам ли не знать, что это болезнь...

— Болезни лечить надо, Глеб Всеволодович.

— Надо,— согласился я. И вдруг сорвался: — Да я бы черту душу заложил, чтоб отстричь этот горб!.. Вы что, не понимаете?! Душу бы!.. — у меня перехватило горло. День был слишком тяжелым — нервы рвались, и опять, как кислотой, подступившими слезами прожигало глаза изнутри.

Он помедлил.

— Ну что ж, это ответ. Значит, я не ошибся в вас.

— Дайте закурить.

Он протянул мне широкую, сверкающую синевой и золотом пачку «Ротманс». Дал огня.

Мне тоже захотелось сидеть непринужденно, развалясь, с сигаретой в расслабленной руке. Этот срыв был непереносим, унизителен. Но сигарета не помогла, тряслась в воздухе вместе с пальцами, и дым шел не свечой, а робким барашком. Только голова закружилась еще сильнее.

— Думаю, мы сможем вам помочь,— сказал Александр Евграфович.

— Каким же это образом? — спросил я холодно, кинул ногу на ногу и попытался расслабиться. И опять непринужденной позы, подобавшей беседе двух равных, не получилось — я забыл про горб; он уперся в спинку и оставил меня высунутым вперед.

— Терапевтическим.

— Умирать я тоже не хочу,— проговорил я.— Тем более, в муках.

— Речь не об операции. Разработан новый метод.— Александр Евграфович глубоко затянулся и помолчал, тщательно обивая пепел в карандашницу.— Риск, конечно, есть, но... В сущности, нам нужен доброволец. Когда Архипов позвонил мне, я понял, что это судьба. Я был уверен в вас и даже определенным образом поручился за вас генералу. Почему-то... почему-то те, кто недоволен страной, когда приходит час испытаний, как правило, наиболее склонны жертвовать собой ради нее.

Не сговариваясь, мы глубоко затянулись оба. Как равные. Пепел медленным карликовым снегопадом осыпался мне на колени.

— В чем состоит метод?

— Консервация зародышей. Горб, конечно, останется, но... горбатых вы, что ли, не видели? Умные, вежливые люди, просто с физическим недостатком. Мало ли у вас физических недостатков? Но зато останетесь здесь. С друзьями, с семьей!.. Да что я вам объясняю... Потому я так и спешил, чем раньше начнем, тем меньше горб, он же у вас пухнет, как бешеный...

— Кем разработан?

Александр Евграфович помолчал. Снова тщательно отряхнул пепел.

— Опытными специалистами.

— Если эмбрионы будут убиты, ткань может загнить. Заражение... гангрена... Мне не очень верится.

— Вас будут наблюдать.

Он помолчал, и мы опять, не сговариваясь, затянулись одновременно.

— Риск, конечно, есть,— честно повторил он.— На животных тут проб не проведешь.

Алый клок восхода неспешно влетел в комнату сквозь узкую щель между домами напротив. Вдали грохотал первый трамвай.

— Вы вправе отказаться,— проговорил Александр Евграфович.— Хотите лететь — летите. Но уж тогда имейте совесть сознаться: хочу улететь. И никто вам слова худого не скажет...— скулы у него запрыгали, и вдруг он хлопнул ладонью по столу, выкрикнув с болью: — Но мы должны остановить отток, должны! Ведь если так пойдет, здесь, может, вообще никого не останется, кроме безнадежных алкоголиков и большого начальства!

— У меня условие,— хрипло сказал я.

— Я вас слушаю.

— Я должен повидаться с семьей.

Он покивал.

— Понимаю вас, понимаю... Разумеется, Глеб Всеволодович. «Волга» с шофером ждет в проходном дворе, распоряжайтесь.

Я отвернулся. Пепельное душное солнце всплывало над крышами.

— В случае... нежелательных последствий,— сказал Александр Евграфович,— о вашей семье позаботятся. В этом можете быть уверены, товарищ Пойманов.

— Надеюсь,— сказал я и встал.

И не смог сделать ни шагу. Ноги будто приросли.

Александр Евграфович понял; слышно было, как он грузно поднялся из кресла у меня за спиной. Кресло освобожденно пискнуло. Оно пищало одинаково и когда его сдавливали, и когда его освобождали.

— Я жду вас в машине,— тяжко вздохнув, проговорил Александр Евграфович и, не глядя на меня, чуть горбясь, вышел из комнаты. Через секунду в коридоре лязгнула дверь и стало совершенно тихо. Только отдаленный, пробуждающийся шум улиц нарастал.

Обвел взглядом кабинет. Нестерпимо захотелось посмотреть фотографии. Поправил бумаги на столе, завязал тесемки на папке с недочитанной диссертацией. Все было на своих местах — стеллажи, книги, в карандашнице еще чуть дымилось. Розовый свет захлестывал стены. Я поднял трубку и тут же положил обратно на безмолвные рычаги. Телефон снова был отключен.

«Волга» покатила по быстро заполняющимся магистралям, аккуратно обгоняя переполненные трамваи и троллейбусы, вежливо притормаживая в узостях, птицей перелетая мосты. Александр Евграфович вновь попытался закурить; плотный бьющийся поток из полуоткрытого окна сметал пламя зажигалки, и Александр Евграфович, пощелкав немного, с неприязненным лицом закрутил стекло вверх до упора.

— Дайте и мне,— сказал я так, будто это уже само собой полагалось мне по рангу. Он протянул пачку; дал огня. Затянулись мы одновременно.

— Давно курите, Глеб Всеволодович? — спросил он, не глядя на меня. Курить было неудобно — машину колотило на латаном асфальте, упругая спинка сиденья то и дело, как боксер в грушу, била меня по горбам, и я мазал фильтром мимо рта.

— Всякий, кто этим воздухом дышит — курит,— ответил я.— И днем, и ночью «Беломорина» на губе.

— А все же не нравится вам здесь, не нравится,— с горечью произнес Александр Евграфович. Я промолчал. Нас с силой повезло по сиденью вправо — «Волга» слетела с Ушаковского моста, нырнув под только что зажегшийся желтый свет, и зарулила, почти не тормозя, на Приморский проспект. Сколько было связано с этим местом, с этим поворотом даже — здесь всегда отдых был близко впереди, залив, необозримые песчаные пляжи с валунами, чистые леса... Слева тянулись за узкой зеркальной полосой Невки зеленеющие Острова; мелькнула, утопая в разливах сирени, прибрежная беседка с эхом, которую когда-то показала мне жена — накатывала ночь, беседка плыла, медленно рассекая серую воду и серое небо, я ломал цветущие ветви и говорил: «О!», и потолок беседки отвечал: «О!», и жена отвечала: «Ого!»

Проскочили буддийский храм. Шофер крутнул баранку, огибая что-то, но опоздал, и нас кинуло вверх на плохо подогнанном, перекошенном канализационном люке.

— Болит... штука-то? — осторожно спросил Александр Евграфович.

— Нет. Онемела совершенно. Мешает только.

Он затянулся; приоткрыв окно, коротко выставил сигарету наружу, и ветер слизнул седой хвостик пепла.

— Спешить надо.

— Делаю, что могу,— сказал шофер. Я впервые услышал его голос.

— Я не тебе, Володя. Ты работай.— Он повернулся ко мне,— я даю вам час.

— Три,— сказал я.

— Я думаю, торг здесь неуместен,— голосом Остапа Бендера сказал Александр Евграфович. Я усмехнулся кривовато, а Володя вдруг громко рассмеялся и на короткий миг обернулся к нам, вспышкой показав веселое смуглое лицо.

— Машин мало,— сказал я.— Странно. Когда-то в такую погоду шел сплошной поток...

— Ездить особо некуда стало,— угрюмо проговорил Александр Евграфович.— Залив прокис, в озерах то гепатит, то менингококк...

— Да не в этом дело, Александр Евграфыч,— снова подал голос Володя.— Народ в Сосновом Бору в ХЖО купается, и ничего...

— Что это? — спросил я.

— Хранилище жидких отходов,— ответил Александр Евграфович.— Могильник.

— Во-во! Так даже нравится — всегда теплая, говорят... А вот налоги на дороги опять так вздули! Кто может столько выложить, кроме мафиози? И, главное, все как в прорву улетает, вы посмотрите на покрытие! Это же убийство, а не покрытие! Частники сейчас от машин избавляются...

Мы затянулись одновременно.

— Единственная хоть сколько-нибудь убедительная теория,— вдруг сказал Александр Евграфович,— то, что улеты — это какая-то приспособительная реакция. Эскулапы наши считают, будто заболевают те, у кого оказались исчерпанными адаптационные возможности. Если жарко — человек непроизвольно потеет. Если холодно — непроизвольно начинает стучать зубами и подпрыгивать. Ну, а если сил нет как хреново — непроизвольно взлетает абы куда... Так, примерно.

— Интересно,— процедил я.

— Да уж куда как интересно,— угрюмо сказал он; прикурил вторую сигарету и, уже не спрашивая и не дожидаясь просьбы, протянул мне пачку. Я закурил. Во рту щипало и жгло.— Ведь сердце кровью обливается! Царь жал, душил, голодом морил — сидели смирненько, трудились. Сталин жал, душил, голодом морил — сидели, коммунизм строили с пеной у рта. А теперь, когда всем бы действительно навалиться плечом к плечу... полетели. Пташки!

— Может, это как облучение,— предположил я хмуро.— Дозы накапливаются, накапливаются... оседает, оседает стронций в костях, и вроде даже привычно с ним, подумаешь — обычное дело: стронций, без него вроде и никак уже... а потом все-таки: бац!

— Глеб Всеволодович,— чуть помедлив и почему-то понизив голос, всем корпусом повернувшись ко мне, произнес Александр Евграфович.— Скажите честно. Что называется, не для протокола. Вы действительно считаете, что... что наша жизнь — это... извиняюсь... стронций?

Я промолчал.

— А я вам вот что скажу! — почти выкрикнул он, подождав и поняв, что ответа не дождется.— У них там есть и другие теории! В апреле группа медиков из Лос-Анжелеса опубликовала статью, где доказывается, что наши улеты — это начало некоего грандиозного, глобального процесса перемешивания. Генофонд вида ощутил региональное закукливание генной информации и пытается его парировать. Дескать, в условиях нашего стремительно меняющегося техногенного мира человек не успевает развиваться синхронно со своими произведениями, приспосабливаться к ним, и чтобы подстегнуть приспособление, надо усилить мутагенный фактор; а что для этого? — для этого как можно быстрее и хаотичнее перемешивать расы, народы...

— Тоже интересно,— сказал я.— Но очень сложно.

— Для вас сложно,— почти со злобой сказал Александр Евграфович.— А вот там обыватели быстро разобрались, что к чему. Зар-разы сытые! Как представили себе, что, ежели так, скоро тоже начнут взлетать из своей Айовы, из Новой Зеландии своей, и опускаться у нас в Нечерноземье, или, извиняюсь, в Кулундинской степи... Ведь от страха офонарели! От наших там шарахаются сейчас — заразиться боятся. Позавчера,— он совсем почернел и буквально грыз фильтр,— позавчера был первый достоверно зафиксированный случай линча. Близ Кальтаджироне парнишка сел, даже крылья не отвалились еще. Зверье... Не приближаясь ближе чем на сорок метров, его спалили из армейских огнеметов, и потом еще минут десять прожаривали труп и почву кругом, пока кости не истлели! Мы случайно сняли со спутника...

Я смолчал. Я представил себе молодую пару, так безоглядно, так предрассветно взлетевшую сегодня. Потом я представил Кирю.

— Я вам больше скажу,— проговорил Александр Евграфович.— ВОЗ уже дважды делала представления нашему правительству. Чтобы мы как-то их оградили... Дошли до того, что намекнули даже...— он мотнул головой, сгоряча не в силах связно подбирать слова.— В общем, чтобы силы ПВО страны сбивали улетчиков над границей. Сами они мараться на государственном уровне не хотят — но дрейфят! И, понимаешь ли, мы же сами, нашими же МИГами чтоб сбивали наших же людей! В целях, извиняюсь, укрепления доверия между Востоком и Западом... И я не уверен, что у наших хватит духу отказывать раз за разом.

Я думал о Кире, и не мог думать ни о чем ином. И вдруг почему-то вспомнил — всей кожей вспомнил, всем телом — как легко и сладко было вчера с Тоней.

Постоянно болевшее, словно проткнутое, сердце на миг упало со своего вертела в пляшущий костер.

В Сестрорецке мы забуксовали среди массы людей. Даже не понять было, что стряслось — кто-то хохотал возбужденно, кто-то всхлипывал, кто-то горячо говорил... Поодаль, встав на урну, бородатый кряжистый человек выкрикивал речь, но его было почти не слышно.

— В чем дело? — жестко спросил Александр Евграфович, выглянув в открытое окно, пока «Волга» пробиралась, слегка лавируя, между неохотно расступающимися людьми.

— Спидоноску придушили! — с кретинической радостью крикнул лохматый небритый паренек в шортах и драной майке, поверх которой болтался прицепленный впопыхах вверх ногами нательный крестик.

— Что?! — крикнул Александр Евграфович. Вены на его шее набухли, стали лиловыми. Паренек в восторге ударил кулаком по капоту «Волги». Сосредоточенный Володя вздрогнул и ругнулся вполголоса, будто ударили его самого — но даже не повернул головы.

— Вроде женщина-то приличная, колечичко на руке,— с готовностью застрекотала аккуратно одетая бабка и, одной рукой катя коляску с равнодушно глядящим оттуда младенцем, потащилась с нами рядом.— А выходит из раболатории, где анализ-то берут — и плачет! Ясно дело — положительный! Ну, а у ребят-то у наших тут в кусту дежурство организовано круглосутошно, блюдемся...

Перекрывая гомон, бородатый поодаль надсаживался, триумфально размахивал рукой — до нас долетали обрывки: «Физическое и нравственное здоровье русского народа идут рука об руку!.. Кризис требует кардинальных мер, и любые будут оправданы, ибо ставка предельно высока!.. На действенную помощь Кремля, раболепствующего перед инородцами, рассчитывать не приходится!.. Мы вправе спросить: Горбачев, где обещанные презервативы? Ты отдал их казахам!.. Убийственный вирус СПИДа, выведенный в тайных масонских лабораториях еще при Лорис-Меликове, которого в действительности звали, как известно, Лейба Меерзон...»

Мы прорвались. Володя, наверстывая время, погнал на предельной скорости. Асфальт летел под шипящие, утробно екающие на выбоинах колеса.

— А презервативов действительно нет,— заметил Володя.

— В том-то и дело,— с тяжелым вздохом отозвался Александр Евграфович.

— Этими-то хоть вы занимаетесь? — большим пальцем показав назад, спросил я.

Володя хохотнул горько. Александр Евграфович, глядя прямо перед собой, долго молчал.

— Эх, Глеб Всеволодович,— сказал он безнадежно,— до всего просто руки не доходят... Что говорить! — его голос затрепетал от скрытой боли.— Нам ведь даже фонды магнитной ленты заморозили! Можем отрабатывать только тех, к кому подключились когда-то, а захочешь сейчас внепланового «жучка» вколоть — изволь за свой счет...

— И куда все девается,— сказал Володя, не оборачиваясь.

Больше мы не разговаривали до самого Рощина.

СВИДАНИЕ

Здесь был рай. Дощатая пристройка утопала в свежей июньской зелени, утренний воздух благоухал; в тишине перезванивались вечные, нормально крылатые птицы. Киря стоял на цыпочках, положив подбородок на край переполненной бочки и, держа в вытянутой руке еловую шишку, сосредоточенно водил ее по воде вправо-влево.

— Кирилл,— сказал я,— здравствуй.

Он обернулся ко мне.

— Шишка купается,— сообщил он так, будто мы расстались полчаса назад. Сначала я обмер, мне показалось, что он где-то упал совсем недавно и стесал кожу с лица. Но это был диатез. Вот тебе и свежий воздух.

— Замечательно,— сказал я,— шишке хорошо. А у тебя рукава мокрые.

— Рукава не мокрые,— серьезно возразил он.

— Ты чем-нибудь другим заняться не хочешь?

— Другим не хочешь.

Рукава были насквозь мокрые. Я закатал ему рукава. Номерков у него на руках еще не было, так что можно.

Жена сидела у газовой плиты нога на ногу, к двери спиной, и что-то читала. На плите булькало, из-под слегка сдвинутой крышки кастрюли курился парок. Газ шел еле-еле. А кран был открыт полностью. Баллон пора менять.

— Здравствуй,— сказал я. Она обернулась. Будто мы расстались полчаса назад.

— Привет,— приветливо сказала она, не закрывая книгу.— Какими судьбами?

— Заехал проведать,— объяснил я, стараясь держаться очень прямо и как-то втянуть предательски раздувшие пиджак горбы на лопатках.— Друг подбросил... ненадолго. У него тут дела, он на машине. Через час обратно.

— Какие у тебя друзья появились, пока нас нет. С машинами. Мужчина или женщина?

Она подзагорела. Чуть-чуть. Но выглядела она страшно устало, просто-таки измочаленно. Под глазами темные мешки, губы бледные...

— Мужчина, представь. Как вы тут? Не болеете?

— В пределах допусков,— ответила она.— Горло все время, особенно с утра. Тепленького попьешь — вроде проходит... А этот совсем не спит. И мне не дает, естественно... Ну, как водится.

— Бедняга... Комары не заели?

— Начинают заедать. Хозяин говорит — это еще что, вот через недельку...

— Что читаешь?

Она закрыла книгу и пихнула ее куда-то в груду посуды на столе.

— Некогда мне тут читать. Стирка-готовка-прогулка, прогулка-стирка-готовка...

— Суп варишь?

— Третий день один пакет мусолим,— она сунулась в ведерко за плитой и показала мне пустой пакет из-под супа «Новинка».— В лабазе — шаром кати. Сперва еще ничего было, а сейчас дачники наезжают экспоненциально... Ты ничего не привез?

— Нет. Как-то не догадался.

— Во! — она постучала костяшками пальцев по столу, намекая, что я дубина.— В морозилке же курица лежит!

— Знаешь, даже не посмотрел.

— Привези. Просто хоть траву лопай...

— Кору с деревьев.

— Лебеду.

— А ты знаешь, как лебеда выглядит?

— У хозяйки спрошу.

— А как они фураж достают?

— Черт их знает. Неудобно спрашивать. Ты же знаешь, сейчас у всех свои маленькие хитрости... Они уж пару раз мне подбрасывали. Тоже не очень жируют, знаешь...

Протопал под оконцем Киря, повозился на лавке около двери и заглянул к нам.

— Шишка загорает,— сообщил он, подошел к матери и полез к ней на руки прямо в башмаках. Она вяло отбивалась. Я перехватил его за плечики.

— Кирюша, не надо. Мамочка очень устала.

— Мамочка очень не устала.

— Мамочка очень устала,— убеждающе повторил я, держа его к себе лицом и глядя в глаза. Он моргал, губки — бантиком; слушал смирно.— Мамочка все время о нас заботится, а на это надо очень много сил. Мешать нельзя, мамочка нам готовит вкуснющий суп, у нее это так замечательно получается...

Еще когда Киря был в проекте, мы с женой много говорили о том, что при ребенке, с самого рождения, очень воспитательно будет с настойчивостью произносить друг о друге только хорошее, как можно больше и чаще, и очевидно отдавать друг другу, например, лучшие куски, лучшее место перед телевизором... Я свято держался этой линии, жена тоже старалась — правда, с модификациями. Она говорила: «Папочка у нас очень умный, только руки у него не тем концом вставлены» — и лукаво косилась на меня, или: «Папочка у нас хороший, но затюканный». Тексты о лучшей доле она тоже переосмыслила: «Сегодня папочка заслужил вот этот вкусный кусочек мяса...» или «этот замечательный ломтик папочка честно заработал...» Сначала я обижался, но быстро привык; да и не лаяться же из-за обмолвок всякий раз, тем более, что проскакивают они быстро, незаметно, беззлобно... да и, что греха таить, зачастую справедливы...

Кирилл послушал-послушал, заскучал и вышел на улицу, аккуратно притворив хлипкую дверь.

— Он стал чище говорить,— заметил я.— Почти все слова понимаемы. Все-таки перемена обстановки подстегивает развитие, правильно мы пошли на эту дачу...

Я осекся. Про полезность перемены обстановки мне не стоило сейчас говорить.

Впрочем, жена не обратила внимания на мои слова. Она тем временем расстегнула халат до пояса и спустила с плеч. Лифчика не было.

— Ты все-таки подзагорела немножко,— сказал я.— Сейчас хорошо видно.

— Посмотри, что тут у меня,— сказала она и приподняла левую грудь ладонью.— Бугорок какой-то. Третий день трогать больно, а самой никак толком не заглянуть, зеркало мы с Кирей кокнули.

Я посмотрел.

— Угорь. Закраснелся чуток. Наверное, купальником натерла.

— Тьфу, пакость... Выдави.

— Ой, не могу. Такое место... боюсь больно сделать, правда.

Она покусала губу и натянула халат обратно на плечи.

— Ладно,— сказала она, застегиваясь.— Ни о чем тебя просить нельзя... Пойду у хозяев зеркало попробую поклянчить. Последи тут, чтоб суп не убежал... Да, кстати, хорошо, что приехал. Видишь, баллон издыхает совершенно. Сходил бы на газостанцию, а? Тем более, ты на колесах.

— Попробую,— сказал я.— Во всяком случае, переговорю.

— Пустой вон в углу. Вот проверочный талон, вот свидетельство на право пользования,— она тяжело поднялась, шагнула к двери.— Не скучай.

— Постараюсь.

— Как ты сутулишься,— проходя мимо меня, заметила она.— Говорю тебе, говорю...

Я улыбнулся.

— Горбатого могила исправит.

Она фыркнула. Протяжно заскрипела дверь, от сотрясения задребезжало плохо закрепленное стекло в окошке.

Я прилег на лежанку. Солнце било сквозь листву, радостные безветренные пятна света лежали на стене неподвижно. Сдержанно, мягко бормотала кастрюля. Было так уютно, так спокойно и тихо, что мне показалось, будто я смогу сейчас уснуть. Все-таки добрался. Ноги гудели, гудела голова. Едва

слышно что-то как бы переливалось или перекатывалось в глубине спины. Вошел Киря, у меня не было сил даже голову повернуть к нему. Он протопал ко мне, встал у лежанки, посапывая и ласково заглядывая мне в лицо.

— У! — сказал я.

Он засмеялся и ответил:

— У!

— Ы-ы! — сказал я, выпятив челюсть, и двумя пальцами пощекотал его живот, проглянувший, как луна сквозь тучи, между разъехавшимися полами рубашки. Он вывернулся. Наклонился ко мне; ухмыляясь, медленно сунулся носом мне в нос. Когда носы уткнулись друг в друга, он нежно сказал:

— Дысь.

— Дысь,— ответил я с наслаждением. Это у нас было такое приветствие. Нос у него был маленький и гладкий, а глаза большие. А щеки и подбородок — словно ошпаренные. Можно сделать великое открытие, можно повеситься, можно выйти на площать с транспарантом «Долой!!!» — диатез это не лечит. Диатез лечит только уменьшение номеров на руках. Киря полез на лежанку, я подцепил его рукой, помог. Он уселся у меня под мышкой. Со двора донесся заискивающий голос жены: «Просто не знаю, как вас благодарить... Вы меня так выручили...» Я приподнялся было на локте, чтобы в окошко посмотреть, чем ее облагодетельствовали — и лег обратно, почувствовав вдруг: неинтересно. Мало ли чем! Может, угорь выдавили. Киря сидел, подпирая одним башмаком мой бок, и с удовольствием строил мне рожи. Мысль о том, что я, скорее всего, сижу с ним в последний раз, была непереносима: я старался не думать, не вспоминать, и только самозабвенно строил рожи ему в ответ.

Вошла жена с пластиковым пакетом, тяжело опустилась на расхлябанный стул.

— Ох,— сказала она и, вдруг глянув на меня исподлобья, улыбнулась почти виновато.— Замоталась я тут совсем... Коленка болит. Вроде и не стукалась... Ладно. Во! Десяток картошек хозяева отвалили. Ублажить любимого человека.

— Ой, нет, я не буду, ешьте...

— Ну, как знаешь,— она поставила пакет у стены, и он с внутренним раскатывающимся стуком осел на полу.— Пригодится... А в следующий раз обязательно куренка захвати.

— Хорошо.

— Как ты-то живешь? Нормально?

— Нормально,— ответил я.— Суечусь...

— Ничего стоящего опять не успел?

— Да нет...

— Уж и мы не отсвечиваем, а ты все равно сачкуешь. Жаль,— она вздохнула, а потом, потирая колено, озабоченно оглянулась на плиту.— Мечта юности была — сдувать пылинки с гениального тебя.

— Ну... кое-что... Французы вот приезжа...

— Совсем газ кончается. Так заправишь баллон?

— Не заправишь,— сказал Киря, почему-то решивший, что просьба обращена к нему.

— Заправишь,— сказал я и встал.

Володя, привалившись задом к капоту, медленно курил, с удовольствием озираясь на безмятежный зеленый мир. Александр Евграфович, запрокинув крупную голову на спинку заднего сиденья, приоткрыв рот, беззвучно дремал в распахнутой машине. Впрочем, дремал он профессионально. Шагов за пять он услышал меня, закрыл рот, потом открыл глаза, потом легко вылез из машины.

Я чувствовал себя последним идиотом.

— Ну, как она? — осторожно спросил Александр Евграфович.

— Ничего,— ответил я.

— Мужественная женщина.

Володя, отшвырнув окурок подальше, поглядел на меня уважительно и полез на свое место.

— Тут вот какое дело,— промямлил я и выставил перед собою красный,

чуть облупленный баллон.— Газ кончился, мне надо сперва баллон заправить. И вы знаете... раз уж мы ездим... все равно ведь: часом раньше, часом позже, мне горб не страшен. Курицу надо из города привезти, я в холодильнике забыл.

Руки Володи свалились с баранки. Александр Евграфович затрудненно сглотнул.

— Вы... серьезно?

— Им лопать нечего! — заорал я, тряся баллоном.

— Да что она, курицу сама купить не может? — побагровев, гаркнул Александр Евграфович и нервно полез за сигаретами.

— Вы в здешний магазин заходили? На полках только искусственные цветы, кооперативные свечи да «Стрела» с «Беломором»!

— И за «Беломор» спасибо скажите,— пробормотал, раскуривая «Ротманс», Александр Евграфович. Руки у него тряслись от возмущения.

— Дайте сигарету.

Он спрятал пачку в карман. Цепко, с прищуром посмотрел на меня, выдохнул дым. Как когда-то.

— Слушайте, Пойманов. Вы помните, какие книги мы у вас изъяли?

Ума не приложу, как я не засветил ему баллоном. Наверное, потому что очень устал.

— Помню,— сказал я.— «Континенты» с Гроссманом, Замятина, обоих Оруэллов «Посевского» издания... «Слепящую тьму» в машинописи... Роя Медведева пару отрывков...

— Ведь замечательная литература! — выкрикнул Александр Евграфович, размахивая сигаретой прямо у меня перед носом.— Умная, честная! И вы тянулись к ней! Рисковали, сознательно рисковали — но тянулись, понимания вам хотелось, истины, высокого чего-то! Масштабного! Помню, привели вас — щенок, соплей перешибешь... видно, как поджилки трясутся, но — гордый! Нога на ногу, собой владеет — сто процентов, даже голос не дрожит. И на мордочке прям написано: сейчас, дескать, меня пытать начнут! А завтра про меня «Голос Америки» на всю страну бабахнет — узник совести, последний гуманист в империи зла... Я вас уважал, клянусь! Так ведь и не сказали, откуда к вам попали эти произведения! Ужом крутились, а ни гу-гу! Я ведь собирался на вас представление писать, загремели бы вы, как оно водилось... да Архипов за вас просил. Такой, говорил, талантливый вьюнош, одумается еще. Но вы, извиняюсь, так одумались! Ведь все же у вас есть: талант, положение... книги — читай не хочу... Свободу вам дали, свободу! Вам бы сейчас кровь из носу пахать для страны! А в голове у вас что? «Курица, курица»! — гнусавым голосом передразнил он.— Смотреть тошно!

Он умолк и опять жадно затянулся. Я следил взглядом каждое движение его сигареты. Не знаю, зачем. Наверное, оттого, что он не дал мне закурить.

— Вот что, Пойманов,— сказал он и кинул окурок себе под ноги. Взялся за ручку дверцы.— Идите вы к черту. Никто и нигде вас не сможет применить. Дохлый вы номер.

— Да почему же меня обязательно применять? Я ведь живой!

Володя, пользуясь тем, что шеф не видит, со значением посмотрел мне в глаза и постучал себе по лбу согнутым пальцем.

— Пока вы не доказали свою ценность для страны,— жестко сказал Александр Евграфович,— живой вы или не живой есть ваше личное дело. Сначала подвиг, а уж потом, если руководство изыщет резервы или сочтет целесообразным у кого-либо изъять,— курица. А вам все наоборот хочется: сначала курица, а уж потом, если ваша левая нога захочет — подвиг. Так держава не устоит. На всех вас кур нет у нас. И не должно быть.

Что-то удивительно родное, удивительно домашнее было в этих словах...

Сегодня папочка честно заслужил этот кусочек мяса.

Как одинаковы те, кто не любит, но использует. Презирает, но нуждается. Замордован и обессердечен настолько, что не может не стремиться паразитировать.

Некогда я твердил себе изо дня в день: мы навсегда в ответе за тех, кого приручили. От этих слов, пронзивших меня еще в детстве, бодрей бегалось. Но

в реальной жизни оказалось иначе: мы навсегда в ответе за тех, кто приручил нас.

— А вас не беспокоит, Александр Евграфович, что вместо подвигов все просто либо прут, что могут, либо друг у друга рвут?

Его глаза сузились, как в момент прицеливания.

— Отрегулируем,— убежденно сказал он.

— Скажите,— я оглядел «Волгу», шофера, исступленно делавшего мне предупредительные знаки, окурок, породисто отсверкивающий золотым ободком.— Вы сами совершили много подвигов?

Он пожал плечами и ответил без рисовки:

— Вся моя работа — подвиг...

— Понятно,— сказал я.

— Что вам понятно? — он опять вспылил.— Ничего вам не понятно! У меня пятый день бачок в сортире хлещет! Все трубы сгнили... А сантехник, зар-раза, радио не слушает даже нашего, газет не читает, книг со школы в руках не держал... Пьянствует водку и ни хрена не делает. Ничем его не пугнешь...— загружаясь в машину, он хрипло, протяжно вздохнул.— Житуха наша скотская... В Управление,— велел он совсем иным, железным голосом и беспощадно захлопнул дверцу.

И тут я понял, что произошло.

У меня что-то словно взорвалось внутри. Я побежал за ними. Бежать не было сил, по бедру бил баллон, и горбы под пиджаком тряслись, как у верблюда на скаку.

— Стойте! — кричал я.— Ну стойте же! Я никуда не хочу!.. Они же пропадут без меня, пропадут!.. Не надо курицу, только газ наберем!.. *Вылечите меня!!!*

Раскачиваясь и скрежеща рессорами на песчаных ухабах проселка, государство уехало от меня. Само. Осела пыль. Задыхаясь, я остановился.

Цвела сирень.

И вокруг беседки цвела сирень. «О!» — говорил я. «О!» — отвечало эхо из чаши потолка. «Ого!» — отвечала жена и прятала счастливое лицо в благоуханных кистях...

Распрямиться. Немедленно распрямиться.

До города километров шестьдесят, за полтора дня дойду. И полтора назад. В общем, успеваю. Вот только курица на обратном пути может прокиснуть, а весь холодильник мне не донести. Тьфу ты, господи, да если б и донес — включить-то его по дороге куда? Ну, скиснет, так скиснет. Я ее пожарю перед выходом.

Да, ведь еще баллон.

Телефон снимут. Сегодня мне никак до Синопской не добраться, снимут, сволочи, телефон. Как же мои будут? «Неотложку», скажем, вызвать...

Обязательно снять с книжки все деньги. Часть оставить дома, а часть принести сюда.

Привести в порядок все черновики. Вдруг кому-нибудь когда-нибудь пригодятся.

Интересно, на какую высоту меня поднимет? Хорошо бы повыше, в стратосферу, там бы я задохнулся...

Не забыть талон на билеты.

1989

95 коп. Индекс 73276

57

«Нева», 1989, № 11, 1—208